

СТАНИСЛАВ КУНЯЕВ

“В БОРЬБЕ НЕРАВНОЙ ДВУХ СЕРДЕЦ”

* * *

Кололись, надирались, отдавались...
А. Вознесенский

Вскоре после революции Ахматову забыли почти на четверть века. Давид Самойлов, поступивший в 1936-м году в легендарный ИФЛИ, писал в 1990-м в предисловии к сборнику её стихотворений:

“Мы, молодые поэты, именовавшие себя “поколением сорокового года” – Кульчицкий, Коган, Слуцкий, Наровчатов, – не числили её в действующей поэзии, а где-то в прошлом, в истории литературы”.

Если не считать короткого “политического” воскрешения её имени в связи с докладом Жданова и постановлением ЦК ВКП(б) о журналах “Звезда” и “Ленинград” (1946 г.), она вновь вошла в моду лишь в эпоху “оттепели”, во время хрущёвской борьбы с идеологией сталинского социализма и с ожившим во время Отечественной войны по воле Сталина русским православием. Знаменательно, что в эпоху “оттепели” одновременно с Ахматовой была издана и первая в нашей стране книга Марины Цветаевой (1961 г.), в предисловии к которой известный ленинградский блоковед Орлов-Шапиро объявил её не только талантливейшей, но и “антихристианской”, поэтессой. К сожалению, не без оснований. Хотя точнее было бы назвать её “еретичкой”.

Наверное, потому, что хрущёвская ненависть к религии была близка к ленинско-троцкистской, “дети XX съезда” в фундамент “оттепели” заложили идею восстановления “ленинских норм жизни”, на что писатель Олег Васильевич Волков, вернувшийся в конце 50-х годов из ссылки, сказал в разговоре со мной, когда мы сидели в старинном особняке на Кропоткинской, где издавался альманах “Памятники Отечества”: **“Ленинские нормы жизни! Да при нём этих евтушенок безо всякого суда просто к стенке бы поставили... при Сталине хоть судили!”** И, конечно, не случайно, что в конце 50-х годов небольшая компания питерских молодых поэтов (Бродский, Рейн, Бобышев, Найман) были очарованы знакомством с Ахматовой, которая находила в пи-

Продолжение. Начало в № 1, 2, 3 за 2012 г.

терских “шестидесятниках” какое-то сходство с тенями и призраками, окружавшими её в молодости¹.

“В то время она, — как впоследствии писал Анатолий Найман, — интенсивно вспоминала своё начало, возвращалась к обстоятельствам и событиям пятидесятилетней давности, к атмосфере ранней молодости. Дух нашего поэтического поколения, конкретно нашей четвёрки, творческий, жизнерадостный и энергичный, скажу аккуратно и основываясь на несомнительных наблюдениях, напоминал ей об её десятых годах прямыми и непрямыми соответствиями. По некоторым признакам, в частности, по неоднократным сравнениям того, как, например, одевался или вёл себя или реагировал я, с теми или другими друзьями молодости, считаю, что во мне она находила ещё и внешнее сходство с ними. Это подтвердилось, между прочим, через несколько лет, когда Аманда Хэйт, начиная курс лекций о поэзии Ахматовой, выставила перед английскими студентами фотографии людей, так или иначе близких поэтессе, начиная с гумилёвской и кончая моей: ткнув в меня, они запротестовали: “Этот уже был”, — и показали на известного персонажа десятых годов”.

Кто был “известным персонажем десятых годов”, проясняется из воспоминаний Эммы Герштейн: **“Анна Андреевна находила у Толи Наймана сходство с Модильяни”** (стр. 479). Так что, видимо, не случайно Ахматова сделала своим литературным секретарём молодого питерского поэта; наверное, не случайно и то, что нравы “четвёрки” были недалеко от нравов “серебряной” молодёжи 1913 года, если **“невеста Бродского ушла к Бобышеву, а через несколько лет я, после развода Рейна, женился на его жене”** (А. Найман. “Великая душа”. “Октябрь”, 1987 г., № 9). Мода на Ахматову в годы “оттепели” стала хорошим тоном. Помню, как мне, работавшему тогда в журнале “Знамя”, было велено Борисом Леонтьевичем Сучковым, моим прямым начальником, познакомиться с Анной Андреевной, взять у неё стихи и напечатать их в журнале. Что я и сделал. До сих пор помню из этой публикации четверостишие, очаровавшее меня:

*Ворон криком прославил
Этот призрачный мир,
И на розвальнях правил
Великан-кирасир!*

Подражательницы и ученицы Ахматовой в те годы плодились, как грибы: Татьяна Глушкова, Белла Ахмадулина, Светлана Евсеева, Нина Королёва, Светлана Кузнецова, Наталья Бурова из Ташкента... Ирина Семёнова из Орла... А где-то в глухой Вологодской провинции и Людмила Дербина.

Второй раз в истории нашей поэзии Анна Андреевна “научила” женщин, пишущих стихи, “говорить” по-ахматовски. Востребованной в хрущёвскую эпоху почувствовала себя и вдова Мандельштама. **“Она много встречалась с диссидентами, особенно с бывшими зэками, и, естественно, была захвачена всей политической атмосферой “оттепели”** (из воспоминаний Э. Герштейн).

В русской литературе есть несколько ярких описаний шабаша нечистой силы. Самый первый изображён Александром Пушкиным в романе “Евгений Онегин” и называется он — “Сон Татьяны”. Шабаш этот деревенско-патриархальный, и нечисть на нём вся своя, родная: **“Моё! — сказал Евгений грозно”**.

Второй шабаш куда масштабней и принадлежит воображению и перу Михаила Булгакова — это бал Воланда, куда открыты двери самым знатным персонажам из иностранной нечисти.

¹ Почему-то А. А., приблизившая к себе питерских “шестидесятников” (“ахматовских сирот”), к нашим московским относилась с высокомерным пренебрежением: “О Евтушенко и Вознесенском отозвалась неблагоприятно и как о личностях, и как о поэтах” (Л. Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. Т. 2, стр. 470).

“..Я догадалась, Вознесенский, наверное, объявил себя искателем новых форм в искусстве <...>, как Евтушенко — защитник угнетённых. Может быть, и защитник, но не поэт. Эстрадники” (там же. Т. 3, стр. 21). Отзыв Ахматовой о сборнике Ахмадулиной “Струна”: “Полное разочарование. Полный провал. Стихи пахнут хорошим кофе — было бы гораздо лучше, если бы они пахли пивнухой. Стихи плоские, нигде ни единого взлёта, ни во что не веришь, всё выдумки, и мало того: стихи противные...” (там же. Т. 2, стр. 496).

Третий шабаш, написанный не без влияния булгаковского, но почти затмивший его своей изощрённой дьяволиадой — это шабаш “Поэмы без героя”, которая была начата А. А. весной 1940 года и закончена в разгар “оттепели”, в 1962 году.

*Крик петуший нам только снится,
За окошком Нева дымится,
Ночь бездонна — и длится, длится
Петербургская чертовня...
В чёрном небе звезды не видно,
Гибель где-то здесь, очевидно,
Но беспечна, прятна, бесстыдна
Маскарадная болтовня...*

Все главные герои-призраки этой поэмы являются персонажами западно-европейской мифологии, все они одновременно слуги “Владыки мрака” в той или иной форме, продавшие ему душу: Фауст, Дон Жуан, Дориан, Казанова, Калиостро, Саломея, Мессалина... Каждая из этих фигур — олицетворение самых изощрённых и модных пороков человечества. Рядом с ними какой-нибудь наш Вий выглядит патриархальным и “непродвинутым” существом, недостойным находиться в их изысканной компании. А сама создательница поэмы естественно видит себя в роли булгаковской Маргариты, намазанной колдовским зельем и летящей на бал к Воланду:

*Словно та, одержимая бесом,
Как на Брокен ночной неслась.*

А четвёртый шабаш, может быть самый пошлый и самый шумный, — шабаш “шестидесятников”, научившихся всему демоническому у своих старших “акум”, “демонов”, “лилит” и прочих прототипов петербургского маскарада из Серебряного века. О том, как он проходил в городе Лондоне, в 1964 году мы знаем из воспоминаний поэта Андрея Вознесенского.

Именно он изо всех “шестидесятников” ухитрился одновременно с прославлением Ленина (“Лонжюмо”, “Секвойя Ленина”, “Уберите Ленина с денег...”) отбивать поклоны “сивиллам”, “командорам” и прочим деятелям искусства Серебряного века любой ориентации: коммунистической, педерастической, сионистской, атеистической и т. д.

“Тайные мои Цветаевы”, “невыплаканные Ахматовы”, “Кузмин Михаил — чародей Петербурга”, “Люб мне Маяковский — командор, гневная Цветаева — Медуза, мускусный Кузмин и молодой Заболоцкий — гинеколог музыки”; “Плисецкая — Цветаева балета”, “Ах, Марк Захарович, нарисуйте непобедимо синий завет” (о Шагале), “Лиля Брик на мосту лежит, разутюженная машинами” (это о каких-то парижских рисунках на мостовой). Словом, весь джентльменский набор “серебряновековых” и “революционных” ценностей. Эти достаточно косноязычные, но расчётливо продуманные признания в любви у А. В. совмещались со взятыми напрокат у кого попало — от Маяковского до Емельяна Ярославского — весьма развязными поношениями христианских символов и нравственных понятий: “Чайка — плавки Бога”; “И Христос небес касался лёгкий, как дуга троллейбуса...”; “Нам, как аппендицит, поудалили стыд...”; “Слушая Чайковского мотивы, натягивайте на уши презервативы...”; “Крест на решётке — на жизни крест...” (о монашеской судьбе); “Пазолини вёл на лежбище по Евангелию и Лесбосу...” (пикантность бессмыслицы, видимо, заключена в том, что Пазолини был геем); “Человека создал соблазн” и т. д. Свидетельств мерклого стихотворного хулиганства в книгах А. В. не счесть. **“Деревянное сердце, деревянное ухо” — так сказал об этом вечно несовершеннолетнем богохульнике А. Солженицын. На каждый плевков не ответишь. Одно лишь хочется сказать, что человека создал не “соблазн”, а Господь Бог... И как только не додумались устроители нынешних гей-парадов развернуть перед собой плакат со стихами А. Вознесенского:**

*Не Анна, Дон Жуан, твоя богиня —
На командоре поженись!*

*Влечение через женщину к мужчине —
Дон Жуанизм.
Любил ли Белый Любу Менделееву?
Он Блока в её образе любил!*

Как бы понравились эти стихи М. Кузмину, Г. Иванову, Г. Адамовичу! Знал, что писал, наш плейбой. Очень хотел он быть своим на карнавале персонажей Серебряного века. Чтобы быть похожим на его героев, даже историю с симуляцией самоубийства для себя придумал. Ну как же! Его любимый Маяковский застрелился. Его “гневная Цветаева” — повесилась, его Лиля Брик — отравилась. Надо же быть похожим на них!

“Однажды мне спас жизнь редактор одного толстого журнала, назовём его здесь О... Никто не хотел печатать моё программное произведение. Я понял, что пора кончать... Разбухший утопленник не привлекал меня. Хрип в петле и сопутствующие отравления тоже. Меня, в ту пору молодого поэта, устраивала только дырка в черепе.

Я заклеил два конверта завещания и пошёл к седому теоретику, у которого был немецкий, сладко оттягивающий ладонь пистолет. “Дайте мне его на три часа, — объяснил я убедительно, — меня шантажирует банда. Хочу попугать”. Беззаветно лживые глаза уставились сквозь меня: “Вчера Лёля нашла его и выбросила в пруд. Слетайте в Тбилиси. Там за триста рэ можно купить”.

Два дня я занимал деньги. Наутро перед отлётом мне вдруг позволили от О. “Старик, нам нужно поднять подписку. У тебя есть сенсация?” Сенсация у меня была. В редакции попросили убрать только одну строку. У меня за спиной стояла вечность. Я спокойно отказался <...> Напечатали” (А. В. “Ров”. М., С-Пб., 1987, стр. 347).

Максим Горький стрелялся всерьёз. Выжил. Владимир Маяковский, болеющий манией самоубийства, всё-таки не вынес нагрузок жизни и выстрелил себе в сердце. Марина Цветаева, в 17 лет написавшая прощальное письмо сестре, через тридцать лет всё-таки не избежала рокового искушения, жившего в её душе. Молодой поэт Всеволод Князев, главный герой “Поэмы без героя”, не в силах вынести мук ревности, застрелился на пороге дома своей возлюбленной.

Но никто из них не рассказал о том, как он готовился свести счёты с жизнью. Один лишь наш “шестидесятник”, внук Серебряного века, якобы ученик Маяковского, а на самом деле его комический эпигоныш, рассказал всё подробно, даже не понимая, насколько жалким и смешным симулянтом он выглядит в своём откровении, о том, что, “мол, не напечатали, так я решил, да вот пистолета под рукой не было, в Тбилиси надо лететь, да денег не хватает на пистолет...” Словом, “юнкер Шмидт из пистолета хочет застрелиться”*...

Люди, знающие литературную жизнь 60–70-х годов, без труда поймут, что главный редактор “О” толстого журнала — это Сергей Наровчатов, что “седой теоретик”, пославший А. В. в Тбилиси, — это Александр Мажиров и что произведение, которое Сергей Наровчатов вначале отказался напечатать в “Новом мире” — это эпатажная, развязная болтовня о “прорабах духа”, о международных тусовках всяческих “хиппи”, о страстях переделкинской либеральной знати, о встречах с гениями (Пикассо, Аллен Гинсберг, М. Шагал и т. д.)... Автор настолько самовлюблён, что не понимает даже, как смешна и ничтожна история его несостоявшегося самоубийства. Как она кощунственно пародийна по сравнению с судьбами его же любимых кумиров Серебряного века. Как суетливо крутится он под ногами у действительно трагических и подлинных фигур русской поэзии. Как он жалок, желая встроиться в их ряд со своей благополучной советско-переделкинской судьбой. Смешнее и ничтожнее его выглядит разве что другая переделкинская “шестидесятница”, которая, решившись расчитаться с советским двадцатым веком за судьбу Ман-

* В обезбоженные эпохи, как правило, резко возрастает эпидемия самоубийств. В отличие от фарсовой истории о “самоубийстве” Вознесенского, многих детей “оттепели” и “перестройки” всерьёз поразила эта инфекция Серебряного века. Вспомним Геннадия Шпаликова, Илью Габая, Вадима Делоне, Юрия Карабчиевского, Анатолия Якобсона, Леона Тоома, Нину Бенуа, Вячеслава Кондратьева, Юлию Друнину, Бориса Рыжего, Нику Турбину, Александра Башлачева и многих других. Да и Высоцкий, по существу, почти довёл себя до самоубийства.

дельштама и Цветаевой, не нашла ничего лучшего, как напроситься на обед к какому-то ортодоксальному, не либеральному критику и заявить хозяевам застолья: **“За Мандельштама и Марину я отогреюсь и поем!”**

Но вернусь к сцене четвёртого (после пушкинского, булгаковского и ахматовского) шабаша нечистой силы, возникшего под пером Вознесенского и опубликованного в результате его шантажа в конце концов в “Новом мире”. Шабаш происходил в Лондоне, в 1964-м году на элитарном вечере памяти Эллиота в некоем Альберт-холле. Под пером А. В. шабаш выглядел так:

“Обожали, переполняли, ломились, аплодировали, освистывали, балдели, рыдали, пестрели, молились, раздевались, швырялись, мяукали, кайфовали, кололись, надирались, отдавались, затихали, благоухали. Смердели, лорнировали, блевали, шокировались, не секли, не фурыкали, не волокли, не контакчили, не врубались, трубили, кускусничали, акулевали, клялись, грозили, оборжали, вышвыривали, не дышали, стонали, революционизировались, скандировали: “Ом, ом, оом, ооммм...” Овации расшатывали Альберт-холл”; “...съехались вожди демократической волны поэзии. Прилетел Ален Гинсберг со своей вольницей. С нечёсаной чёрной гривой и бородой по битническому стилю тех лет <...> уличный лексикон был эпатажем буржуа <это была волна против войны во Вьетнаме>. Он боготворил Маяковского”.

Итак, этот шабаш, по Вознесенскому, был революционным (ещё бы — где Ален Гинсберг, там и революция). Но такого рода шабаша местного значения в те времена “шестидесятники” устраивали где угодно. Вот описание одного из них, сделанное Нинель Воронель (переводчицей “Баллады Редингской тюрьмы” одного из любимцев Серебряного века Оскара Уайльда), проходившего в квартире известного московского диссидента Юлия Даниэля и его жены Ларисы Богораз, участницы похода на Красную площадь в августе 1968 года в знак протеста против вторжения советских войск в Чехословакию.

“Дом его заполнили толпы какого-то проходящего мимо народа — собеседников, собутыльников, сексотов, соглядатаев и переменных подружек. Временами начинка его запущенных комнат, обклеенных этикетками выпитых бутылок спиртного, напоминала мне видения из картин Иеронима Босха. Нетрезвые существа обоего пола кучно валялись на полу, свисали со столов и диванов, сплетались в гирлянды. Стайки поэтов и поэтесс игриво проплывали из дверей в окна, совокуплялись по пути то друг с другом, то с хозяином, то с кем-нибудь из гостей. И всем им, без разбора, Юлик читал свои крамольные повести, опубликованные за границей”...

Картина одна и та же — в Лондоне Ален Гинсберг со своей вольницей, в Москве Юлик Даниэль с Ларисой Богораз. Кругом революционеры. Одни митингуют против войны во Вьетнаме, другие против танков в Праге, читают стихи, “совокупляются” — словом, “шестидесятники”... И в такую тусовку попала Анна Андреевна, приехав в Лондон получать оксфордскую мантию!

А. Вознесенский в своих “Прорабах духа” приводит текст афиши:

“В Альберт-холле участвуют все битники мира: Л. Ферлингетти... П. Неруда... А. Ахматова... А. Вознесенский”... Так что наша Анна Андреевна, может быть, не случайно на старости лет попала в число “всех битников мира”. Ахматовский профиль, выложенный из мозаики бывшим её любовником Борисом Анрепом, поразил воображение А. Вознесенского:

“На мозаичном полу в овалных медальонах расположены лики века — Эйнштейн, Чарли Чаплин, Черчилль. В центре, как на озере или огромном блюдище, парят и полувозлежат нимфы. Нимфа слова имеет стройность, чёлку, профиль и осиную талию молодой Ахматовой. Когда я подошёл, на щеке Ахматовой стояли огромные ботинки. Я извинился, сказал, что хочу прочесть надпись, попросил подвинуться. Ботинки пожали плечами и наступили на Эйнштейна”.

... Помню, в середине 90-х годов прошлого века я был в Багдаде. Ирак жил цветущей жизнью, университетские студенты сыграли для нашей писательской делегации “Горе от ума” Грибоедова, потом нас повели, если не ошибаюсь, в главную библиотеку Багдада. Перед входом в неё был выложен из камней портрет Буша, по приказу которого была начата первая война американцев против Ирака с громадными жертвами от бомбёжек среди мирного населения... Перед входом в библиотеку иракские студенты с хмурой сосре-

доточенностью вытирали свои ботинки о лицо главного палача иракского народа, американского президента-варвара. А что касается получения Ахматовой во время лондонского шаша почётной оксфордской мантии, то Георгий Васильевич Свиридов в своих записных книжках так отозвался об этой церемонии:

“Кажется, что именно она была тесно связана с масонством. Круг людей, особенно Англии – центр масонства. (Ротшильд остаётся королём мира несмотря ни на каких нумомиллионеров.) Все знакомые: Анреп, сэр Исая Берлин, Рандольф Черчилль, вопящий во дворе так называемого “Фонтанного дома”, культ дома, культ нищеты (аристократической), культ якобы Духа, большие знания, постоянное стремление к тайне. <...> Сама её премия в захолустной академии, как видно, устроена масонской ложей, что характерно для Италии... Анреп – также художник, мозаичист. Это, конечно, вовсе не художник. Наполнитель, наноситель знаков в библиотеке на полу. Мощнейшая организация, страшная”...

В отличие от Георгия Свиридова А. Вознесенский назвал сотрудника английского посольства “сэра Исая Берлина” **“одним из самых образованных и блестящих умов Европы”**. Но кто сегодня помнит, в чём заключались его “ум, блеск и образованность”? Кто сегодня помнит, кто такой Ален Гинсберг?

Не стоит забывать и о том, что своё 80-летие Михаил Горбачёв справлял именно в Альберт-холле (это к разговору о масонстве).

... Наверное, в дни, когда она получала в компании всех “битников мира” оксфордскую мантию, Ахматова чувствовала себя словно бы по мановению машины времени перенесённой из 1913 года в лондонский шаш, в альберт-холльскую Вальпургиеву ночь – с той лишь разницей, что вместо поэтов-педерастов Всеволода Князева и Михаила Кузмина рядом с нею вертелись, “коллолись и надирались” Ален Гинсберг и Андрей Вознесенский.

* * *

От одной из самых талантливых учениц Ахматовой, возросших в эпоху “оттепели”, Ирины Семёновой, живущей по сей день в Орле, я получил недавно в подарок книгу её избранных стихотворений с несколько претенциозным названием “Русская камена”. Я полистал её и даже подумал: иные стихотворения вполне были достойны того, чтобы под ними стояло имя Ахматовой. Нет нужды приводить их целиком, порой достаточно первой строчки: “Ты одержим навязчивым недугом”; “Какую странность видишь ты во мне”; “Блажен лишённый песенного дара”; “К другим иди! Мне одиноко, что ж”; “А я всю жизнь притягивала чем-то”; “Зачем тебе мои измены”; “Я книг своих не помню, я – другая”... Одно всё-таки процитирую целиком:

*Издания золотые
И мраморный пьедестал?
За эти стихи простые
Весь мир на меня восстал!*

*А я лишь свечой горела
Пред Богом в родном краю,
Где Муза окрест смотрела
И пела мне песнь свою.*

Ахматовские выверенные рассудком скупые чувства, ахматовская каллиграфическая точность рисунка душевных движений, выраженных через движения физические, то же болезненное, но осторожное тяготение к тёмному миру и бегство от его тьмы к свету, те же убедительные попытки пророчеств, то же ощущение вины за греховные замыслы – и трогательные порывы оправдать или отомолить свою вину, та же гордыня от сознания своей причастности к царству русской поэзии, та же постоянная дочерняя надежда на покровительство Музы.

Есть у Семёновой поэма “Северные фрагменты” о жизни в молодые годы в Ленинграде, естественно, с ахматовским эпиграфом: **“Там, где плещет Нева о ступени, – это пропуск в бессмертие твой”**. Есть в поэме и прямое признание в любви к Ахматовой:

*Увы! Безделицу такую
Я звать поэмой не рискую,
Обрывков тьма, размазан план
И сплошь ахматовский туман.
Хотя, пожалуй, сходства мало!
Но до безумия, бывало,
Я вам скажу, в те времена
Её стихом потрясена.
Но свой восторг превозмогая,
Я не Ахматова — другая!
Хоть благотворна мне досель
Её творений колыбель.*

Живя в Ленинграде, Семёнова не только сочиняла стихи под присмотром музы поэзии Камены, но и отдавала дань музе танца Терпсихоре (как Глебова-Судейкина) и вращалась в кругу молодых художников. Так что увлечение ахматовской “стилистикой” для неё было неизбежным. И чего удивляться тому, что её стихи того времени, как и стихи Дербиной, изобилуют джентльменским набором Серебряного века: “Коломбина”, “Арлекин”, “Пьеро”, “Колизей”, “Алигьери”, “Аполлон”, “Петрарка” и т. д.

Я уже хотел закрыть книгу с мыслью о том, что познакомился с очередной жертвой ахматовского колдовства, но обнаружил ещё одну поэму — “Детство Матроны”, посвящённую знаменитой русской святой XX века. Посмотрел, когда была написана поэма — 2010–2011 годы, начал читать и, дочитав до последней страницы — ахнул: поэма была подлинным бунтом против Серебряного века, разрывом с его мировоззрением и прощанием с кумиром молодости — Анной Ахматовой. Вот последняя глава поэмы, в которой сказано, в сущности, многое из того, о чём я думал сам в последнее время.

*Над сетью чёрных петербургских рек
Нет-нет и дунет ветер вольтерьянский,
Чтоб, разночинный и полудворянский,
К концу столетья тускло вспыхнул век
Серебряный и антихристианский.
Навстречу злу, плывущему извне,
Разбудит он язычества химеры,
Чтоб в православной издревле стране
Кромешной стать молитвой сатане,
Смешав с духами жгучий запах серы.
Он будет жить унылою мечтой,
Свобод абстрактных требуя жеманно,
Ущербный внук гармонии святой,
Век повторит он в слове “золотой”,
Как будто Бога божья обезьяна.
Став на колени, вновь полезет он
Лобзать скупой Европы мостовые,
Патриотизм поцарствовал в России,
Когда побитым пал Наполеон,
Да времена-то, батюшка, иные!
Что православье? Разум протестует!
В России всё наскучило — пора
В Италию, в Париж, в “Гранд-Опера”,
Где вечно ложа пятая пустует*.*

*В Париж, где море чувственных утех,
Где в модный шёлк одеты будуары,
“Сезонов русских” слава и успех,
Где стали вмиг привычными для всех
Шансон, модерн и новые бульвары.
Европа любит русских парвеню:*

* “Но сердце знает, сердце знает, что ложа пятая пуста” (А. Ахматова).

*И платят больше, и сорят нелепо,
Лишь к судному годящимися дню
Условными сафическими “ню”
В твореньях Модильяни и Анрепа*.*

*Так, лепеча неведомо о чём,
Торцы Европы рабски подметая,
Творцов стиха сплотившаяся стая
В Россию революцию с вождём
Звала, как яркий праздник ожидая.
Как от её хмелела новизны!
Как ощущала шум её вселенский!
А зря! Глазные впадины темны
У революций — вряд ли им видны
Дворянский Блок иль Клюев деревенский.
Европа в пёстром вихре кутерьмы
Иных Руси настряпала гостинцев:
Марксизмом тяжким полные умы,
Учеников безбожных для тюрьмы
И маузеры новых якобинцев.*

Так что оговорка: “Я не Ахматова – другая!” – возникла у Ирины Семёновой не случайно. И пришлось мне перечитать книгу более внимательно, чтобы понять истоки этого бунта против эгоцентрического мира молодой Анны Андреевны, у которой от её безбытности, бездомности, бессемейственности, культивируемых Серебряным веком, были ослаблены чувства, связанные со словами “родство”, “родное”, “родня”, “природное”...

Ахматова много размышляла и писала о Пушкине, но интерес её был своеобразен: Пушкин, читающий Парни и Апулея, Пушкин, перекладывающий на русский язык инородные сюжеты в “Сказку о золотом петушке” и трагедию о Дон Жуане, Пушкин “Египетских ночей”...

Ей, видимо, был чужд Пушкин, излагавший во множестве своих писем мысли о семейной жизни, о детях, о воспитании чувств.

“Моё семейство умножается, растёт, шумит около меня. Теперь, кажется, и на жизнь нечего роптать, и старости нечего бояться. Холостяку на свете скучно” (из письма П. Нащокину, 1836 г.).

А вот своеобразное “священное писание” семейной жизни из письма П. Плетнёву (1831 г.):

“Жизнь всё ещё богата; мы встретим ещё новых знакомцев, новые созреют нам друзья, дочь у тебя будет расти, вырастет невестой, мы будем старые хрычи, жёны наши – старые хрычовки, и детки будут славные, молодые, весёлые ребята; а мальчики станут повесничать, а девчонки сентиментальничать; а нам то и любо”.

Конечно, эта часть пушкинского мира была совершенно чужда Серебряному веку, без устали твердившему о “гибельных наслаждениях”... Вот почему я стал внимательно вчитываться в стихи Семёновой, в которых светилось и трепетало это “родное”: “грустное, нежным огнём залитое, небо глядит на жнивье. Родина! Горе моё золотое! Мглистое детство моё”; “О Родина! Что я спою, коль чувство к тебе обнищает? Заблудшую душу мою Родным очагом освящает”; “Теперь всё чаще говорит о вечном, себя не помня, бабушка моя”. В её стихах появляется “свалка наполеоновских знамён”, “знамён вермахта”, в её стихах и в поэме “Командор”, посвящённой Сталину, возникает лик Европы, которая, по словам Пушкина, по отношению к России всегда была **“столь же невежественна, сколь и неблагодарна”**.

Ахматова не хотела знать такого Пушкина, и её ученица, в молодости верная Анна Андреевна, спасая свою “заблудшую душу”, отшатнулась от своего кумира.

(Окончание следует)

* Б. Анреп, поклонник стихов Ахматовой и её любовник, сбежавший в 1918 г. в Англию и выложивший из цветного мрамора фигуру нимфы поэзии с профилем Ахматовой при входе в зал известного в Лондоне Альберт-холла. Модильяни – итальянский художник, рисовавший обнажённую Ахматову во время её пребывания в Париже в 1910 году.